

В России сильный консервативный мыслитель — это всегда хороший писатель.

В противном случае всё, что им написано, теряет силу и смысл очень быстро. Статьи, трактаты, исследования, монографии — да что угодно! — оказываются на той полке, откуда их извлечет лишь холодная рука исследователя, но не жаркий интерес человека, ищущего совета в высоких проблемах бытия. Политика ли, экономика ли, религиозная ли сфера — никакой разницы! Слабость художественная обрекает всякое умственное достижение в гуманитарной сфере на библиотечную пыль во много слоев, ставит меж ним и широкой образованной публикой почти непроницаемый барьер.

У нас всё завязано на слово, а если взглядеться в суть вещей, то — на Слово. Тот, кто Слова не ведает или словом не владеет, обречен, даже имея мыслительный дар самой высокой пробы, превратиться в черепок на одном из стендов интеллектуальной археологии: такой-то когда-то сделал «выдающийся вклад» в культуру, общественную мысль, консервативную традицию и т.п., нужное подчеркнуть.

Николай Михайлович Карамзин — как и Леонтьев, например, или, скажем, Розанов, или, в меньшей степени, Хомяков, — являлся великим консерватором, одним из величайших за всю императорскую эпоху. Отчего ж? За всяким умопостроением, за всяким элементом исторической системы стоит у него живой образ, живым словом выписанный. И по сию пору образы Карамзинские — словно следы золотой вышивки на академических холстах, где по старинному узору сто раз прошлась конвейерная серость, глыбовость, неудобосказуемость, но под напластованиями строгого научного угрюмства видны еще блёстки литературного гения.

Карамзин — один, сам по себе! — целая эпоха в русской истории и литературе. До него Россия, даже в героическую эпоху наполеоновских войн, видела в своем прошлом какую-то чаадаевскую околесицу: междоусобные драки князей, невнятный деспотизм царей, передвижения непросвещенных громадных масс в чащобы и к берегам дальних морей, по внешней видимости, лишённые высокого смысла. Какая-то кочевая азиатская страна, приграничье Европы, которое Петр Великий вписал в европейские окраины, и вот тогда-то, всего пару поколений назад, и началась — Жизнь! Молодой русский дворянин высокого рода знал написанное Плутархом и Тацитом, боготворил Фемистокла, восхищался Солоном, мечтал о судьбе Цезаря; ему грезилась европейская державность времен Карла Великого, ему сердечно дорог был героизм крестовых походов. Вот только о своей, русской истории он мог не знать ровным счетом ничего. Или же — так, на золотничок, сплетни старшего поколения о екатерининских временах, да отблески всеобщего, бонтонного восхищения Петром I Европеизатором... Величавые дела православ-

ной веры, мужество дальних предков и политическая мудрость российских государей оказывались для него тайной за семью печатями. Он, бывало, и русского-то языка не знал. А если знал, то — всё равно! — не имел под рукою вполне современного по форме исторического повествования о жизни старой России.

Чем ему любоваться в русской старине? Кому сопереживать? Какие образцы героизма, высокой нравственности и духовного подвижничества брать для строительства собственных идеалов в прошлом родного Отечества, когда историческая литература скудна, архаична по форме, тяжела в повествовании...

История России для русского интеллектуала, жившего в начале XIX столетия, являлась чем-то столь же чужим и ненужным, каковы, например, история славного Таджикистана или анналы производства силикатов для образованного русского гуманитария наших дней.

И вот является Карамзин со своей «Историей государства Российского» и дарит современникам то, чего они оказались лишены: свою историю, изложенную так же красиво, как европейская или античная; своих героев, живших, творивших, сражавшихся с неменьшим благородством, смелостью и высотой духа, чем Солоны, Фемистоклы, крестоносцы.

«Пусть греки, римляне пленяют воображение... — писал Карамзин, — но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое... сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная история великими воспоминаниями украшает мир для ума, а российская украшает отечество, где живем и чувствуем... Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей... однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних».

Николай Михайлович дал русскому обществу эти картины и эти характеры. Оно хвалило Карамзина, ругало, возносило, мешало с грязью, но с неизменным упоением читало новые и новые тома «Истории государства Российского», напиваясь теми умственными яствами, по которым испытывало смутную тоску, еще не зная, как назвать их и откуда взять. Карамзин угадал тайную тоску России по своим героям, а потом насытил ее своими трудами.

Этим он велик.

Прав был Н.Н. Страхов, когда писал о Карамзине: «Великий писатель, создатель русской истории, зачинатель нового периода нашей литературы, а главное — человек несравненный по мягкости и благородству души, друг царей, но верноподданный России». Именно создатель русской истории — не Татищев, не Щербатов, подавно не Болтин, крупные историки XVIII столетия, а именно Карамзин создал тот большой исторический миф России, который составил ядро представлений русских о своей стране от племенной эры до Смутного времени.

Но почему же именно консерватор?

Да, патриотизм его огромен и не вызывает ни малейших сомнений. «История государства Российского» в какой-то степени представляет собой один громадный многотомный ответ всем «французикам из Бордо». Высоко ставя европейскую культуру, блага просвещения, научные достижения Запада, Карамзин стоял за сохранение Россией максимальной самостоятельности во всем, не исключая сферу мысли.

Николай Михайлович год за годом строил то, чего не существовало во времена его молодости, то, что сейчас называют национальным самосознанием. Вот его

собственные слова из знаменитой записки «О древней и новой России»: «Деды наши, уже в царствование Михаила [Федоровича] и сына его [Алексея Михайловича], присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как благоприятствовало оно любви к Отечеству и нравственной силе оно! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому легче было покорить Россию — неверным или братьям? т.е., кому бы она, по вероятности, должно было более противиться? При царе Михаиле или Федоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России».

Однако «любовь к отеческим гробам» и апология национальной традиции делают мыслителя патриотом, но еще не консерватором. Только тогда ясно видно, что некий мыслитель консервативен, когда он взывает к сохранению фундаментальных основ общественной жизни, без которых социум, по его мнению, погрузится в пучину развала и падения.

Что ж, в этом смысле Карамзин ясно выразил свою позицию. Николай Михайлович — несомненный монархист, притом сторонник монархии неограниченной и сильной.

По его словам, «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием». В другом месте: «Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою государственного устава ее, она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?»

Карамзин выразил безусловную уверенность в том, что Россия цела, пока цело самодержавие. А значит, гибель его, ослабление или порча скажутся на стране самыми разрушительными последствиями: «Самодержавие есть Палладиум России: целость его необходима для ее счастья».

В такой же мере Карамзин — христианин, глубоко верующий человек. Православие для него — «святая вера», равно необходимая России для процветания, как и сильная монаршая власть.

Так, Николай Михайлович предварил «Историю государства Российского» следующими словами: «Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия...»

В зрелые годы Карамзин выказывал в своем поведении, публикациях и домашнем быте полную приверженность православию. Как в жизни, так и в смерти Николай Михайлович оставался христианином. Историк был похоронен на Ново-Лазаревском кладбище. Погребение его происходило с полным соблюдением православного обряда.

Естественно, от либеральной публики, что двухсотлетней давности, что нынешней, Карамзин без конца получает и получает презрительные оценки. «Тормоз

общественного развития)... воспел «преlestи кнута»... раболепствовал перед царями... Ну и... что там еще, в стандартном наборе? Мракобес? Защитник деспотизма? Лютый крепостник? Можно добавить по вкусу, ингредиенты известны, вот уже лет двести с гаком их сыплут в горячую кашу, чтобы затем облить ею очередного русского консерватора.

Тут ничего удивительного: враг.

Да еще какой враг! В ту пору, когда русская масонерия, декабристия и прочая радикалия молилась на Французскую революцию, бредила военным переворотом и алкала царубийства, Карамзин, собственными глазами видевший всю кровопийственность якобинства, революцию проклинал.

По его мнению, «ужасы Французской революции отучили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства». Ах, если бы! Против такой заразы иной раз и хирургические методы не помогают. Но, как минимум, в теории Карамзин остался прав. Суть разрушительной функции революционерства историк передал превосходно: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей».

Удивительно другое: в наши дни отчаянные патриоты ругают Карамзина. Дескать, масон, враг России, враг монархии, лукавый агент чужих злобных сил.

Спор о том, сколь сильна и продолжительна в творчестве Карамзина масонская мелодия, — давний. Еще А.Н. Пыпин обвинял историка в том, что силен привкус масонства в его идеях. Тот же Страхов Н.Н. решительно отвечал: «Г. Пыпин уверяет, что масонство имело неизгладимое влияние на Карамзина. Неправда! Карамзин ему не поддался...» И, действительно, недолго побыв в масонах, Николай Михайлович совершенно от них отвратился. Позднее он принципиально не имел с ними общих дел.

Ныне Карамзина опять окунают в масонское подполье, отбирая у него честь русского государственного человека, доброго христианина и царского слуги. Обвинения эти основываются, главным образом, на свидетельствах... самих масонов высокого градуса, когда-то лукавым образом порочивших Карамзина, который покинул их ряды, чтобы уже не вернуться назад до конца жизни. Эти «свидетели» хотели бы замарать Карамзина перед властью, а потому щедро приписывали ему то, чем сами жили и чем он побрезговал.

Кляузы двухвековой давности получили в русском патриотическом сообществе наших дней до странности широкое распространение. Николая Михайловича винят прежде всего в том, что он, выполняя некое задание «вольных каменщиков», скверно отозвался о первом русском царе Иване IV.

В наши дни широко разлившаяся любовь к государю Ивану Васильевичу есть отчасти ответ на либеральное к нему презрение в 90-х, отчасти — ответ естественного народного желания по-опричному посадить на кол всех «псов Запада» и коррупционеров, каковые видны в правительственных сферах (да и ниже, до уровня простых чиновников), отчасти же — нота в большой хвалебной песни о Сталине, звучащей ныне на каждом углу. Сталин Грозного любил, Сталин, как и Грозный, тоже много казнил, так восславим же царя за его сходство со Сталиным! — вот лейтмотив очень многих выступлений в публичной сфере. Мало кто обращает внимание на то, что Иван IV и Сталин фигуры бесконечно разные — и культурно, и психологически, и политически.

Как ни парадоксально, громогласная хвала Ивану Васильевичу имеет в наши дни больше «левого», «красного» в своей консистенции, нежели консервативного и христианского.

Ну а теперь стоит разобраться с тем, что именно, как и почему писал Карамзин об Иване Грозном.

Прежде всего, для тупой и незамысловатой задачи «очернения» Николай Михайлович написал о государе слишком много хорошего. Укоряя Ивана IV в чудовищной жестокости, называя его тираном и мучителем, Карамзин все же не забывал отдать должное и его положительным свойствам: помянул добрым словом царский «превосходный разум» и обширные знания; отметил строительство многочисленных городов, крепостей; похвалил ревностную неутомимость царя в государственной деятельности: «Любил правду в судах, сам нередко разбираал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно, казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом».

«Черное» и «белое» перемешаны тут в равных пропорциях. Точнее, у Карамзина просто нет чисто черной и чисто белой красок. Он любил обсудить с читателями облик и деяния монархов. Порой высказывался критически (и не только об одном Иване IV, но и, например, о Екатерине II, хотя и восхищался царствованием ее). Но что в том необычного? Что в том худого? За свирепость обличал Ивана IV еще святой Филипп, митрополит Московский. Об иной монаршей особе, императрице Евдоксии, гневные слова произнес св. Иоанн Златоуст. А Святой Амвросий Медиоланский спорил с императрицей Юстиной, и та уступила.

Царский сан требует обязательного почтения, но царь как человек не свят и не безгрешен.

Историк создал сложную, наполненную трагическими нотами историю нравственного роста и падения Ивана Грозного. Против монаршего сана он не выступил нигде, но жестокость государя он показал как нечто ненужное и к добрым последствиям отнюдь не приведшее.

Напротив, Карамзин сочувствовал старомосковскому самодержавию. Отступление от него, как полагал историк, приводило к правлению «многоглавой гидры аристократии», намного более тяжелому и вредному для страны.

Так, по словам Карамзина, поскольку в детстве Иван IV не мог иметь действительной власти, а его мать, регентша Елена Глинская «...действовала по внушениям совета, то Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от двадцати гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному божеству, пред коим надобно только смиряться; но многочисленные тираны не имеют сей выгоды в глазах народа: он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребления власти». В 1547 году, после подавления большого бунта, вызванного самовольством той же аристократии, государь Иван Васильевич ведет себя с подлинным величием, защищая истинное право самодержца: «Мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы; созвал святителей, умиленно калялся в грехах и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился святых тайн», — затем последовало принятие царского титула и женитьба на Анастасии Захарьиной-Юрьевой.

Падение произошло с годами. Под пером Карамзина оно предстало увечьем для личности государя. Но и после того, как проявились горькие признаки падения, Карамзин все же не прибегает к однозначному очернительству в отношении царского характера, а рисует его живо, в красках яркой жизненной силы, противоречивости и тяжелой внутренней борьбы.

«Любопытно видеть, как сей государь, — пишет Карамзин, — до конца жизни усердный читатель христианского закона, хотел соглашать его божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России; то смиренно винился перед Богом и людьми, называл себя гнусным убийцею невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком!»

А что следовало написать Карамзину? Выдать солнечное повествование о неммыслимо совершенном, мудром, стратегически мыслящем победителе всех и вся? Но это невозможно без лжи. Если взглянуть на плоды царствования и удержаться от укоризн по поводу страшного кровопролития, то все-таки еще не исчезнут другие укоризны: Москва была взята и сожжена татарами, чего не водилось со времен Дмитрия Донского; большая война Ливонская оказалась проиграна, русские города и земли с православным населением оказались под властью иноземцев, иноверцев; святой Филипп подвергся убийству от руки опричника, и тот вместо наказания был пожалован. Зачем надо все это «сглаживать»? Требуется ли от историка Бог лгать о язвах Отечества ради «текущего момента», «единения народа» и «политической необходимости»? Нет, ничего такого нет в нашей вере. Напротив, рассказывать надо то, что было на самом деле, всё прочее — низость.

Так в чем следует обвинять Карамзина? В том, что он не захотел превращать русскую историю в набор лозунгов? В том, что он поставил истину выше агитационных удобств «текущего момента»? В том, что он презрел ура-патриотическую простоту во имя сложности действительной истории?

Так это следствие добродетелей его, а не злокозненности ума.

Очень хорошо, что Карамзин был сложен. Очень хорошо, что Карамзин был правдив. Очень хорошо, что он не пожелал к сверкающему дворцу русской истории пристроить фанерный халупник ложных достижений и ложного благочестия.

Поведал правду. Таким и следует быть настоящим консервативным историком. Во имя Бога и народа своего — не лгать!